

Валерий Айрапетян

Образ Марата

Марат был похож на рано состарившегося мальчика.

Он проповедовал нам — начинающим писателям — учение об образе.

На мой вопрос, какое значение в художественном тексте имеет этот самый образ, Марат ответил: «Вот представь себе молодого красивого человека, который ходит, смеется, плачет, любит. А теперь представь себе этого человека в гробу. Он может быть еще красив, но уже не жив. Это труп красивого человека. Через какое-то время это красивое тело начнет разлагаться, превратится в землю и исчезнет навсегда. Человек был жив и красив, пока в нем жил дух. Так же и с литературой. Если в тексте нет образа, нет частички духа, то это не литературное произведение, а его труп. Он может быть даже красивым, этот текст, но скоро начнет разлагаться, а со временем исчезнет, и никто о нем не вспомнит».

Таких примеров у Марата было великое множество, но врезался в память именно этот.

Или вот еще.

«Рассказ — это танец на пеньке, — говорил Марат, — и исполнить надо красиво, и не оступиться. А роман — это многоэтажный жилой дом, в котором планировка всех помещений и коммуникаций должна быть оправданна, должна служить замыслу дома. Вот представь, что ты проводишь экскурсию по дому потенциальному покупателю квартиры. Открываешь дверь в туалет и говоришь — это спальня, ой, нет, это, наверное, кухня, ой, постойте, возможно, это вообще балкон. Большинство современных романов — такие дома, где кухня находится в туалете. Я думаю, тебе бы не понравилось жить в таком доме. Люди пишут большие плохие рассказы на пятьсот страниц, называют их романами и получают за них литературные премии».

«Человеку следует стыдиться, что он писатель, а не гордиться этим», — заметил однажды Марат. В нем еще были живы рецепторы, так свойственные людям прошлого времени и стремительно отмирающие у людей времени нового; рецепторы, реагирующие на всякого рода манипуляции, направленные на возвеличивание своего, особенно — творческого — «я». Представить Марата, степенно рассуждающего о своем писательстве, о своих литературных удачах было невозможно. Помню, как на премии «Нацбест» сидел он в числе финалистов в первом ряду, напряженный и растерянный, как человек, которого попросили прикинуться другим. Пока шла церемония и ведущий со сцены — больше любовавшийся своим суждением о прочитанных книгах, чем, собственно, книгами финалистов — блистал, острил и заикался, Марат несколько раз, крадучись, пробирался к выходу, чтобы уже за дверями приложиться к флаге с коньяком. Каково же было его счастье, когда победу присудили не ему: ходил по фуршетному залу, поднимал всех встреченных на пути прелестниц, воспевал их

Валерий Айрапетян — прозаик. Родился в Баку в 1980 году. В 1988 году в связи с карабахскими событиями переехал с семьей в Армению. С 1993 года живет в России. Работал пастухом, грузчиком, разнорабочим, озеленителем, сопровождающим тургрупп, маляром, массажистом, гирудотерапевтом. Автор двух книг прозы. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Постоянный автор «ДН». Живет в Санкт-Петербурге.

красоту и признавался в любви. Стать писателем, чтобы, стяжав успех, нежитья под светом софитов, обрести общественную значимость, превратиться, прости господи, в «лидера мнений», популярного блогера или телезвезду, — вот эта вся мотивация, стимулирующая писать многих и многих пробивных и ловких, была совершенно чужда Басырову. Конечно, он хотел признания, хотел, чтобы его читали, чтобы доходы от литературных трудов обеспечивали тот минимум, который бы позволял, не думая о дне завтрашнем, спокойно писать книги. Но не более.

О своих текстах он говорил сухо и по существу, без выпирающего через слово «я», а вот о текстах коллег по писательскому цеху — современников и классиков — он говорил охотно, со страстью, заикаясь, подбирая нужные слова для более точного выражения своего ощущения от прочитанных книг. Особое внимание Басыров уделял текстам друзей (моим в том числе), акцентируя наше внимание на удачах или, наоборот, на нестройностях, шероховатостях, длиннотах и, главное, недоработке по части художественного образа. «Я же люблю вас, вы как дети мне, и хочу одного, чтобы вы писали и писали всё лучше и лучше», — с доброй иронией добавлял он после разбора очередного нашего рассказа.

С ним было интересно говорить на любые темы, кроме политических. Он не понимал, для чего писатели лезут в политику, рвутся на трибуны, вступают в партии; не верил, что кому-нибудь может быть интересно мнение человека, исследующего красоту и гармонию, обо всей этой заведомо известной лжи и сплошном лицемерии. И вообще, был чужд этому времени: не следил за трендами, не понимал разницы между либералами и патриотами, не интересовался политикой, не строил писательскую карьеру, не посещал модные мероприятия и бары, да и одевался — как простой советский гражданин.

«публицистика — это проституция. я статей не люблю. не понимаю их важности. для меня есть одна ценность — художественная. мне важен дух, важна гармония, противостоящая хаосу», — написал мне однажды Марат, как всегда в переписке используя только строчные буквы.

«Но погоди, — парировал я. — А как же Толстой, Достоевский, Бунин, Солженицын? Писали ведь публицистику». «ты не путай, — ответил он. — классики, помимо того, что создавали великие произведения, могли позволить себе высказать мнение на тот или иной предмет, причем мнение их было оригинальное, они задавали тон поколениям. и в вечность они попали из-за своих художественных вещей, публицистика — это лишь незначительный прицеп. а сейчас посмотри на этих: и вещей великих не пишут и копируют друг дружку, ничего нового, одно и то же по кругу гоняют, публицисты, блин, мыслители херовы. искусство настоящее всегда выше политики. кто там кого мочит — полный бред. понимаешь, Валера, все они е...сь на социально-политических делах, а это никогда не относилось никак к искусству, никаким местом. они все политизированы и во всем видят социальные аспекты. хотят видеть. потому что художественность для них — ноль. только политика. это ж не писатели. вот увидишь — Лукошин (тогда о нем говорили, но недолго. — В.А.) никогда не станет большим».

Мы виделись с ним не так уж часто, раз в месяц, а то и реже. И не сказать что были близкими друзьями. Я, к слову, не знал даже, как зовут его жену и детей, какие у него отношения с родителями и т.д. Он не говорил, я не спрашивал, да и обсуждали в основном литературу. Близким другом он приходился Кириллу Рябову, а позже — Жене Алёхину. Три страдальца (Марат был меньший по этой части) и три настоящих писателя, они органично сошлись между собой. Мы с ним чаще списывались. Басыров принадлежал к той категории писателей, которые пишут много лучше, чем говорят. И дело не только в заикании (Марат обычно осекался на первой согласной, чаще на «б» и «п»: Б-Б-Б-Б-Басыров, выдал бы он, если б взволнованно или догоняя рвущуюся вперед мысль, произнес свою фамилию). Наверное, каждый четвертый литератор несет в себе тот или иной речевой дефект; я и сам заикаюсь, сколько себя помню. Думаю, у Марата, помимо легкой социофобии и природной скромности, не было базового доверия (которым так питаны «говоруны») к устной речи: пустые слова, умирающие сразу после рождения; такие не соберешь в нужный строй, не отредактируешь, такими не вплетишь в ткань повествования художественный образ,

не выстроишь толком диалог. Но уже в письменной речи, даже не в художественных текстах, а всего лишь в личной переписке (которую недавно перечитывал четыре часа, но так и не дошел до середины), он выдавал по полной: бойко шутил, метко подкалывал, блестяще выстраивал аргументацию по интересующему его вопросу, который в восьми из десяти случаев был — литература, смеялся и плакал, да так, что и я, сидя перед экраном в другом конце города, то хватался за живот, то утирал слезу.

Хулиган и трагик, он даже когда писал о своих горестях и переживаниях, добавлял в конце сообщения «хаха» — смешок человека, страшась не нарочно впасть в пошлость. Это «хаха», призванное как бы умалить значение сказанного, не только не умаляло его, но, напротив, придавало словам вес и какую-то особую драматургию. Вот Марат болеет, сидит дома и пишет мне: «погода стоит пи...тая, сейчас бы по питеру погулять с бутылкой в кармане, слезы пьяные пролить над невой, а я дома сижу, хехе», — и сразу хочется поскорее одеться и пойти гулять вдоль Невы, прикладываясь к бутылке, печалюсь и радуясь жизни.

Или вот, когда писал свой «Жэ-Зэ-эл»: «убежал от семьи к родителям, пишу тут потихоньку, и так же сердце болит по х... знает чему-то несбыточному. как у человека, которому перед смертью предлагают выкурить лишь сигарету, когда ему не хочется умирать, хаха», — всего две строки и целое море тоски уже плещется у ног, и думаешь — как бы самому не пропасть в пучине.

Попадая в малознакомые компании, Марат поддерживал общие темы, и даже когда речь заходила о литературе (круг общения узкий, большинство общих знакомых — литераторы), старался больше слушать, закинув ногу на ногу, подперев подбородок кулаком и выражая всем видом крайнюю заинтересованность. Он держался напряженно, и я чувствовал, что в эти самые моменты, когда приходилось слушать «умные разговоры» и строить сосредоточенное лицо, ему нестерпимо хотелось оказаться где-нибудь в уютном тихом месте в компании хорошей книжки и кружки пенного.

Память не придерживается строгой хронологии. Вспоминая человека, память выдает короткие видео или застывшие картинки, и только если потребуют того обстоятельства или вдруг возникший интерес, пытается приладить их к шкале времени, выстроить в ряд, связать друг с другом.

В самом начале нашего знакомства, это был, наверное, год 2005 или 2006, Марат мне не понравился. Он показался мне обзленным, желчным говнюком, похожим на ящерицу. Я только начинал писать, плохо разбирался в людях и судил — как рубил с плеча. Его иронию, замечания по текстам я принимал в штыки, не сумев тогда разглядеть стоящие за ними желание помочь, стеснительность, огромную любовь к литературе и непростую жизнь. Ко всему прочему, у него не выгорел один задуманный проект, связанный с выходом к чемпионату по футболу книги «Чемпионат», на который Марат много ставил и который не оправдал его ожиданий. Я тогда еще не знал его как человека, принимая то, что лежит на поверхности, за ядро личности.

Сдружились мы позже, уже после того как я познакомил его с Женей Алёхиным, на тексты которого совершенно случайно набрел в интернете, а встретился с автором уже в Москве. Алёхин тоже был похож на ящерицу — на ершистую и неприкаемую. Первое, что он сказал, встретив нас — меня и писателя Диму Орехова — туманным осенним утром у метро ВДНХ, было: «Писатели, что ли?» Мы с Ореховым кивнули. «А, понятно, — ответил Женя. — А похожи на барыг с рынка». Алёхин взял водки и сосисок и провел нас к себе в общежитие. Через двадцать минут нашего с ним выпивона (Орехов не пил) Алёхин предложил нам ознакомиться с его любимой порнухой, в которой негр конским своим удом долбил жопастую брюнетку на разный манер. Православный писатель Орехов пришел в такой ужас, что повесил голову на грудь и не поднимал ее добрых полчаса. Я сразу тогда подумал, что надо бы свести Женю с Маратом, вот уж два сапога пара. И не прогадал. Они, как два маркшейдера, прокладывали одну и ту же штольню, только с разных концов. Будто искали друг друга всю жизнь и вот нашлись. Марат, ознакомившись с текстами Жени, был настолько впечатлен как текстами, так и юностью автора, что в переписке с Алёхиным сдуру скостил себе целых семь лет, чтобы хотя бы календарно быть ближе к молодому поколению (кстати, Марат выглядел на свой придуманный возраст, а не на паспортный).

А потом сильно страдал, что ввел в заблуждение друзей (наверное, только Кирилл Рябов и был в курсе, но он тот еще великий конспиратор: я последний из нашего круга узнал, что Сжигатель трупов и Кирилл — это один и тот же человек). Женья, очередной раз бросивший ВГИК, перебрался в Питер. Марат был старше Алёхина на 19 лет — вполне себе разница между отцом и сыном. И отношения у них сложились тоже сыновье-отеческие. Вскоре и работать стали вместе. Господи, чем только они не занимались! Рыли какие-то ямы, строили дачи, рубили и обтесывали лес, устанавливали двери, малярлили и плотничали. Даже двери в квартире моей первой жены переустановили. Помню, как ввалились они в квартиру. У Марата была огромная сумка, почти как у хоккеистов, и у Жени не меньше. От чая отказались, сразу приступили к делу. Алёхин, как всегда, был чрезвычайно сосредоточен на работе, даже не на работе, а на движениях. Он всегда такой — будто пожизненно сдает экзамен, который боится провалить. Марат, напротив, как опытный работник, то пошутит, то засмеется, то начнет браниться на не подошедший по размеру чопик. Ребята разложили в коридоре инструменты. Запомнилась невиданная прежде пила с горизонтальным диском и пластиковой крышкой над ним. Предыдущий мастер был общего профиля, то есть умел все, но понемногу. Он здорово помог, когда нас кинули с ремонтом. Я был ему подмастерьем, и вдвоем мы начали и закончили капитальный ремонт. Все бы ничего, но двери стояли в рамах косо, как возвратившиеся домой пьяные гуляки. И Марат вызвал помочь. Как художник перед мольбертом, он пару раз то отходил от двери, то подходил к ней, шурил глаз и кивал головой. Потом быстро приставлял отвес, делал пометки, что-то подбивал, в конце заливал проемы монтажной пеной — и дверь стояла ровно, как швейцарский гвардеец на карауле. Пока Марат выправлял одну дверь, Алёхин занимался другой. Так все двери и выставили по уровню.

Одна из наших последних встреч тоже была связана с оказанной мне Маратом услугой. Я уже жил к тому времени в коммуналке, и чертов смеситель в душевой приказал долго жить. Позвонил Басырову проконсультироваться относительно покупки нового, на что он ответил, что не надо ничего покупать, есть у него в наличии новый немецкий смеситель, и вообще — долго не виделись, вот заодно и увидимся, и смеситель установим. Приехал и сходу приступил к починке. Рано состарившийся мальчиш, он сидел на детском деревянном стульчике и ковырялся в смесителе. Мы говорили тогда о трудностях, возникающих в работе над рассказом, которые при этом никак не отягощают работу над повестью. Марат что-то откручивал, прикручивал, дул в трубки, я стоял рядом на подхвате у мастера; говорили мы оба, но работал и говорил он один. И вдруг Марат поднял голову. Лицо его было бледно-зеленым, на лбу выступила испарина. «Что-то мне нехорошо, Валер», — выдохнул он. Я побежал за водой, кликнул сестру Наташу, у нее, помнится, были капли валокордина. Марат выпил лекарство, немного посидел, отдышался. Я предложил ему прилечь, но он наотрез отказался. «Так часто, ерунда. Старость, х...е, хаха». Через десять минут он был уже в тонусе. Прикрутил смеситель, мы отобедали и пошли гулять.

Разок и мне пришлось помочь Марату с ремонтом, но не дверей и не смесителя, а его самого. Летом 12-го (я жил тогда с девушкой в Девяткино в новом панельном доме на 11 этаже) Марат позвонил и пожаловался на боль в ребрах. Договорились о встрече. Стояла какая-то чудовищная жара при полном штиле, и даже за городом — а Девяткино это уже Ленобласть — было не продохнуть. Все окна и балконные двери были распахнуты, я бесцельно бродил по квартире в одних шортах, вздыхал и потел, как бодибилдер на просушке. В таком виде и встретил Марата.

— Здорово, Кабанелло! — воскликнул он. — Можно, я буду так тебя называть за неистребимое здоровье и такой же оптимизм?

Господи, я выглядел, как замороженный зверь, как грустный цирковой бегемот, какой уж тут оптимизм. Марат, напротив, был бодр и весел, в очередной завязке и не курил, и если не считать прострелы в ребрах, чувствовал себя превосходно. Каково же было мое изумление, когда Марат снял футболку, на которой не проступало ни единого потного пятнышка, и залег на массажный стол, предоставив мне абсолютно сухую спину — бронзовую мальчишескую спину легкоатлета с хорошо очерченной мускулатурой.

— Слушай, ты совсем не вспотел! Ты и вправду ящерица!

— Да нет, — Марат засмеялся. — Просто я уже умер, хаха.

Марата беспокоила межреберная невралгия. Одного сеанса оказалось достаточно, чтобы все прошло. После массажа мы сидели на кухне, пили зеленый чай и любовались видом из широченного распахнутого окна (точно такого же окна, как на последней больничной фотографии, сделанной Маратом): звенящее синее небо, частные домишки в окружении деревьев и кустов, словно разбросанные по траве сухари, смешанный, переходящий в огромное поле с вышками электропередач лесок, и уже на горизонте — уродливый бастион жилого комплекса на Гражданке. Сейчас там понастроили какие-то огромные муравейники на тысячи квартир в каждом, а тогда вид был вполне себе пасторальный.

Не могу вспомнить последнюю встречу с Маратом. Возможно, это было в «Столовой №1» у метро «Маяковская», в компании Алёхина, Рябова, Сперанского. Не помню — пил тогда Марат алкоголь или нет. Помню, что он периодически трепал меня по плечу и тянул: «Валеерка!» — а после смеялся хулиганистым озорным смехом.

А потом Марат умер.

Выпрыгнул из мира, в котором, сидя на периферии Вселенной с комком глины в руках, точно гончар, ваял свои впечатления: впечатления с толикой горечи, впечатления одинокого человека, вопрошающего Господа о своем предназначении и смысле всего сущего. Сырой мякиш жизни, который он разминал и исследовал тонкими приторовленными к любой работе — от рытья канав до набора своих стихотворений на компьютере — пальцами. Маленький человек, вооруженный образом красоты и гармонии, постигающий большой и странный мир, красивый и уродливый одновременно, гармоничный и распадающийся на части, жестокий и милосердный, дарящий любимых женщин и слабое сердце, цветущую весну и жуткое похмелье.

Когда взглянул на лежащего в гробу в больничном морге Марата, то не узнал. Желтая скуластая маска в морщинах, белый выпуклый рот, нереальные, огромные, чужие уши. Тело без духа-образа, как в том его сравнении. Не настоящее тело, другое, не его. Это был не Марат Басыров, большой русский писатель в теле рано состарившегося мальчика, а какая-то фикция и подмена. От этого понимания стало немного не по себе, но и легче. На кладбище, пока могильщики выправляли могилу, отец Марата подошел к гробу, склонился над ним и поцеловал сына в лоб. «Мальчик мой», — произнес он глухим голосом, и я, тоже отец сына, не сумев сдержать себя, заплакал. Могильщики (на их спецовках красовался логотип похоронного бюро «Виолин») работали в три силы, будто боролись с могилкой. В яме было много воды, пласты глинозема то и дело отваливались с боков и плюхались на дно. Они едва успевали вычерпывать воду и ровнять края. Женя Алёхин — который был Марату учеником и учителем, другом и сыном, напарником и подмастерьем, издателем и редактором; Женя, который взял на себя организацию похорон и поминок; Женя, который, пока не вострубит труба, ноет и путается в своих соплях, а в час икс быстро собирается и решительно действует, стоял все это время с огромным снопом цветов в побелевших от напряжения руках и отрешенно глядел в могилу. Я подошел помочь, протянул руки, и Алёхин передал мне цветы, бережно и неспешно, как передают отцам новорожденных при выписке из роддома.

Когда стали опускать на полотенцах гроб — простенький, обитый красной тканью ящик — слышался треск ткани, и уж совсем невыносимым был звук от падающих на хрупкую крышку тяжелых пластов напитанной влагой глины. Работники быстро засыпали могилу, утрамбовали, оформили холмик, притащили и установили на нем бетонную плиту. Разложили цветы. Мы немного постояли и пошли к выходу.

По дороге вспомнилось сообщение, отправленное мне Маратом незадолго до смерти:

«не переживай, ничего не наладится в этой жизни.

все кончится только вместе с нами.

так что крепись, дружище, и не падай духом».

Он не приписал в конце свое фирменное «хаха». Видимо, не успел.